

Троеречье

Днепр

на дне его сплошь некрополи редких птиц
во сне его только птицей не возвратись
к бокам его цепью солнца прикован груз
к векам его через веру вернусь вернусь

и волны круты и камни его остры
в повозках его то щуки то осетры
погоды его чудесны когда тихи
эх гой-еси из низов его на верхи

спроси его где начало глубоких свай
тряси его до покрывки и вытрясай
дороги его плаксивы как ветви ив
пороги его обили варяг да скиф

враги его у истоков оставят жизнь
нагие бредут по дну его чтобы вывыс
прошу тебя за него отпусти меня
ношу его память дальше веду браня

Дон

Мой тихий Дон плывёт вдоль камышей –
непризванный. Из памяти глубокой
течёт мечта, гонимая взащей,
до сорока уставшая до срока.

Здесь рыбе царство разливает муть
по чешуе серебряного карпа:
свободное дыхание вдохнуть
и выдохнуть дыхание монархий.

По берегам скрипит могильный крест
под горький плач, заезженный до хрипа.
Горит звезда, нашив дурную весть
на небо – проходящим логотипом.

Бетонные строения черны,
их мысли чёрны, облетает копоть
от поднятой в тридцатых целины,
от танцев в два прихлопа, три притопа.

Смыт половодьем тракт. А на краю
из праха всё, и в прах всё обратится.
Не чуя неба, ангелы поют.
И Дон плывёт, не ведая станицы.

Иордан

В веках, где присно и поныне
заречный цвёл иконостас,
и вопиющий гневно глас
пугал заблудшего в пустыне,
не царство божие прибудет,
как безответная мольба
к земле склонённого горба
под залпы тысячи орудий,
а ручейки с хребтов направит
река под ропот вещей вод,
Сионом пролитых в синод
к первопрестольной вящей славе.

Река порогами невинна,
пророкам слова – несть числа.
За неимением ремесла
там мальчик прячет нож за спину.
Там смесь арабов и евреев
взрывоопасности сулит.
Новозаветный вечный жид
скитается за Моисеем.
Неопалимых поколений
следы стираются быстрее.
В колоколах монастырей
смолкает молох сновидений.

Не потому ли день от века
не отличить в реке, пока
течёт старинная река
в крутых излучьях человека.

Города

город Я встречает тебя собой
и ведёт по каменным узким тропам,
говорит-торопится вразнобой,
как смешной торговец из конотопа.
чердаки, подвалы, разломы плит –
улыбаться пробует, улыбаться.
а внутри-то теплится? – говорит.
сколько лет? – наверное, всё же двадцать.
ещё полон хрупких ретортных дум,
разгоняет ветер до самой сути,
надевает свой выходной костюм
и выходит вечером – «выйти в люди».

город ТЫ встречает меня тобой
и ведёт тайком к вернисажам, книгам,
говорит с припухлостью над губой,
вспоминая детство, фонтаны, ригу.
заслоня вывески, тень для глаз,
улыбаться пробует, улыбаться.
что снаружи? – тёплое напоказ.

сколько лет? – наверное, девятнадцать.
ещё «эр» грассирует в слове двор,
и причёска сбита навстречу ветру,
что ломает замки и сущий вздор
и уносит шляпки и сны из фетра.

город МЫ встречает ревниво нас
и идёт за нами, виляя, следом,
и молчит старательно битый час,
словно наш язык для него неведом.
обнесён стеною. там – ров. там – вал.
а внутри-снаружи – толпа народа.
узелок на память бы завязал.
сколько лет? – наверное, нет и года.
ещё редок утренний холодок
за мембранной гранью дверного скрипа,
и пытается золото оселок,
чтобы нас по мелочи не рассыпать.

Третий лишний

когда года светили театралам
и небо уравнения решало
о прочном равновесии вещей
плодились комментарии вселенной
пародии на чёрные измены
комедии со вкусом кислых щей

сидела плотно публика в партере
снимали труп поэта в англетере
и режиссёр командовал мотор
валились в кучу люди кони люди
простые люди без каких-то судеб
таящие в глазах немой укор

газетной полосы припухли веки
ещё полны водою были реки
ещё зияли окна чистотой
и улыбался каждый третий лишний
держась за сердце или за булыжник
придавленный коломенской верстой

как это было всё неоспоримо
в кругу друзей из иерусалима
читался бред высокий как с листа
потом все развалилось одичало
и новый день оттачивал устало
на куполах созвездие креста

и ты промок собрав в котомку чувства
потомок безыдейности искусства
и предок виртуальных площадей
где шум утих и на подмостки вышел
как из народа гамлет третий лишний
оставшийся последним из людей

Рубашка

Я надену рубашку изнанкою внутрь,
прочитаю почище молитву
и пойду по дорогам, где курят и пьют,
пряча глубже опасную бритву.

Сигаретным приветом сигналият огни
из подвалов беспечного детства,
и визгливые крики: «Пятёрку гони!» –
из окошка в тени по соседству.

Марлезонский балет, автомат ППШ,
чёрно-белые фильмы о главном...
Я листаю в дороге, почти не дыша,
деревянные ветхие ставни.

Надоело смотреть на культурный массив,
запечённый в кулич поколений.
Я опять становлюсь безнадёжно ленив,
поднимаясь по скользким ступеням.

И слышнее звучит паровозный гудок:
«Ваше время – пожалуйста – вышло».
Снова видится мне, бесконечно далёк,
капитан деревенских мальчишек.

Путь дочитан с листа без серьёзных помех
до абзаца, до перечня радуг.
Я надену пижаму изнанкою наверх –
может, сон будет крепок и сладок.

Веласкес

Привычно почернел до темноты
дождливый день, бегущий краем моря.
Признание украсило холсты
Веласкеса, который так же чёрен.

Всё так же глух старик ко тьме времён,
подслеповат прищур севильской ночи,
картинный вздох в пространство устремлён –
к престелнейшей из королевских дочек.

На затемнённый зеркалом портрет
Венеры, что изогнута, как рыба,
не падает укрытый тенью свет
от зрительских насмешливых улыбок.

Рябые мойры полотно плетут,
черня в ковре условности приличий,
метаморфозы рушатся, но труд
художника пугающе трагичен.

Сильней инстинкт изгнания раба
из гения, когда, надрезав кожу,
тот просит у бессмертия: «Избавь», –
и заточённый в рамки шепчет: «Боже».

А в темноте (с оглядкой на сон)
рыдает дождь, больной испанским гриппом.
Веласкес умирает за поклон
очередному глупому Филиппу.